

Валерий Казаков

УРОКИ ЖИЗНИ

юмор, сатира, ирония



Валерий Казаков

**Уроки жизни. Юмор,
сатира, ирония**

«Издательские решения»

Казаков В. Н.

Уроки жизни. Юмор, сатира, ирония / В. Н. Казаков —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-854905-2

В этой книге под одной обложкой собраны короткие ироничные и юмористические рассказы о жизни российской провинции. Некоторые из них выглядят как сатира, но не обличающая, а та, которая учит жить.

ISBN 978-5-44-854905-2

© Казаков В. Н.
© Издательские решения

Содержание

Я	6
Бабушка	9
Дед Степан	13
Дядя Саша, который червяка съел	16
УРОКИ ЖИЗНИ	20
Новогод	25
Признание	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Уроки жизни Юмор, сатира, ирония

Валерий Николаевич Казаков

© Валерий Николаевич Казаков, 2017

ISBN 978-5-4485-4905-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Я

Откровенно говоря, мне никогда не нравились успешные люди. Я всегда замечал в них нечто ущербное. Некую отстраненность от реальной жизни. Скорее всего это происходило потому, что сам я никогда не обладал статусом делового человека. Я всегда был катастрофически неуспешен и потому вынужден был находиться в народной гуще.

Я никогда не имел престижной должности. За всю свою жизнь я ни разу не пришел на службу в новом костюме и не примерил перед зеркалом красивый новый галстук. Сколько себя помню, на мох плечах всегда был ватник, на ногах – кирзовые сапоги. В этом смысле жизнь на севере России не отличается большим разнообразием в выборе одежды. Просто летом мне нужна фуфайка потоньше и сапоги полегче. Вот и всё.

Встав с постели, я никогда не говорил жене: «С добрым утром». Она мне тоже ничего не говорила. Молча, ставила на стол тарелку овсяной каши, нарезала хлеб, я тянулся за маслом. Мы ели и смотрели в разные стороны. Потом мы пили чай. Она говорила, что ей пора на работу. Я кивал. Она уходила. Я не провожал её даже глазами.

За всю свою жизнь я никогда не приходил на работу к восьми часам. Моя работа всегда была трудной, но не имела строгих временных рамок.

В бригаде лесорубов я много выпивал. В школьной котельной дрался с пьяными бомжами, которые лезли в тепло отогреться. Работая лесником, я старался исполнить свои обязанности поскорее, чтобы к обеду выбраться из чащи, где полно комаров и мошек.

Сколько себя помню, я некогда не имел больших денег, хотя порой хорошо зарабатывал. Мои деньги как-то очень быстро уходили на самые неотложные нужды. Что называется – исчезали. И когда мне становилось необходимо купить бритву или вылечить зуб, то в семейном бюджете денег на эти цели часто не находилось. Появлялись они только после моих грубых выкриков и громкой брани. Потому что я, оказывается, отнимал у жены последнее. Потому что я, по её мнению, всегда был транжира и мот, который принесет денег с Гулькин нос и тут же их забирает обратно.

Я никогда не бил жену, даже если она очень меня раздражала. Я просто надевал фуфайку, кирзовые сапоги и выходил на улицу в сад. Там я долго стоял под раскидистой яблоней, опираясь на черен лопаты. Я ни о чем не думал, ни о чем не жалел. Просто так складывалась моя жизнь.

Я никогда не говорил жене ласковых слов. Мне как-то неудобно было такие слова говорить. Потому что жена через два года после нашей свадьбы стала толстой, крикливой, вечно чем-то недовольной женщиной. Иногда спросонья я смотрел на неё и не узнавал. Мне казалось, что её подменили. Я женился на тонкой изящной, милой женщине, от которой пахло ландышами, которая с придыханием говорила о Чайковском и Рахманинове, восторгалась Джойсом и Набоковым, которая рассказывала о последнем лауреате Пулитцеровской премии по литературе – Соле Беллоу. А сейчас она не может вспомнить, кто такой Мендельсон, не говоря уже о Рее Брэдбери. Она говорит со мной о своих больных коленях, о высоком давлении, о нехватке денежных средств. От неё пахнет ужасной мазью под названием «Диклоран плюс». И я боюсь спросить у неё, любит ли она меня, как прежде, или это чувство уже совершенно угасло в ней, погребенное под грудой неотложных дел и забот.

Среди моих одноклассников очень мало успешных людей. Может быть, когда-то они и были успешными, но сейчас все мои друзья и бывшие одноклассники почему-то стали пенсионерами. Глядя на них, я со страхом думаю: «Неужели я выгляжу так же непрезентабельно, как эти люди»? И порой мне кажется, что это не так. Что я выгляжу лучше и моложе. Что они всегда выглядели хуже меня. Их мучила изжога, они много болели, злились, переживали из-за пустяков, стремились достичь успеха. А мне все эти устремления были чужды.

И тут вдруг я понимаю, что давно не видел себя со стороны.

Я спешу к зеркалу и придирчиво разглядываю в нем свое лицо. Седеющие волосы, тонкие скулы, глубоко посаженные темные глаза. Скорее всего кто-то из моих предков был турком или иранцем. Не иначе. Во всяком случае, у меня не растет окладистая борода, как у всех породистых славян. И вообще мне порой хочется взять саблю, вскочить на резвого коня и скакать, скакать по широкой степи навстречу ветру. «Эх, ма! Степь раздольная!» Но коня у меня нет. Нет даже сабли. Зато в душе есть что-то такое, отчего я не могу смотреть на породистых коней без восхищения. Мне нравятся их вытянутые интеллигентные морды, их большие, влажные добрые глаза. Их мягкие теплые губы, длинные ресницы. Мне нравится слушать, как они ржут. Видеть, как они едят овес, пьют воду из реки. Должно быть, это проявляют себя мои турецкие корни.

И живу я почему-то не в Париже, не в Москве и даже не в Малмыже. Я живу в селе под странным названием Трек. Скорее всего, это тоже неспроста. Ведь по логике вещей турки должны жить именно в Туреке.

Может быть кому-то мое предположение о турецких корнях покажется неубедительным, даже странным. Спорить не буду, некоторые мои умозрительные заключения носят чисто экзистенциальный характер. Но почему-то они мне дороги. Они не противоречат моему внутреннему «я». Поэтому я вам как турок скажу. Русский народ живет неправильно. Он излишне патриотичен. Для него имперская Россия превыше всего.

Русский народ отвоевал когда-то у нас, у турков, Крым. И что из этого получилось? Ничего хорошего. Дальше последовали только новые войны, которые не кончаются до сих пор. Россия всегда в этом смысле выполняла не свою роль. Воплощала не свои планы. Создавала не свой образ. То есть её амбиции не соответствовали её мощи. При нищем народе она вооружала свою армию так, что та могла держать в страхе всю Европу. Только эта ноша всегда была ей не по силам, не по плечу. И тогда, и сейчас.

Вот пишу эти строки, а сам понимаю, что я никогда не имел одного устоявшегося мнения на что-либо. Сегодня я думаю так, завтра – иначе, а через неделю, вполне возможно, заброшу все эти мысли к чертовой бабушке. Я человек непостоянный. Я свободен от каких бы то ни было принципов. А полная свобода, на мой взгляд, как раз и предполагает идейное непостоянство. Сегодня я могу думать так, завтра иначе, а послезавтра вообще могу забыть обо всем, что тревожило меня ранее. Потому что от дум моих ничего не меняется. Думы мои легки и оттого горьки. Из под моей руки – буквы, завитки.

Я никогда не рассуждал о жизни серьёзно. Серьёзная жизнь не для меня. Когда я пробую рассуждать о своей жизни всерьёз – мне всегда хочется плакать. Ибо суверенность моего существования достигается как раз за счет отсутствия ясной перспективы. Четкие очертания будущего навевают на меня тоску. У какого-то писателя я выудил фразу о том, что достижимые вещи обычно губят самое богатое воображение. На первый взгляд эта мысль может показаться нелепой. Но это не так. Подумайте сами, что раньше времени приземляет нашу высоко парящую душу? Забота о деньгах. А что дают нам деньги? Еду. Всего лишь еду. А мы, порой, тратим на это целую жизнь. Значит, мы свою жизнь проедаем. Мы проедаем вечность, славу, признание, мечту.

Опомнитесь турки и русские, немцы и англичане. Давайте не будем проедать жизнь. Не к этому ли призывали нас Роберт Бернс и Анри де Ренье, Уильям Фолкнер и Фенимор Купер. Пусть в нашу жизнь хотя бы иногда заглядывает слава. Такая эфемерная и такая желанная.

Не буду скрывать, ко мне однажды она приблизилась. Во всяком случае, я видел её очертания, (трость и шляпу) достаточно близко. Она шла ко мне по широкой литературной дороге, но вдруг оступилась и стала прихрамывать. Наверное, ей было больно. Хотя потом стало больно мне. Тогда мои рассказы ожидали публикации в одном престижном москов-

ском журнале. Их хвалили, обещали в скором времени напечатать, но в последний момент отменили публикацию. Мне было тридцать два года. Я работал в котельной. На моих плечах был серый ватник, на ногах – кирзовые сапоги. Моим лучшим другом был Вася Рашпиль. Но мне было тридцать два, и я очень любил искусство, поэтому ничего дурного вокруг себя не замечал.

Вася Рашпиль говорил мне:

– Зачем ты пишешь эту муть? Купи мне бутылку водки, выпьем, и я тебе такое расскажу – хватит на целый роман.

– Опять про тюрьму? О том, как ты человека убил? – переспрашивал я.

– А чем тебе тюрьма не травится? – удивлялся Вася. – Я там полжизни провел. И ничего, как видишь. В тюрьме умных людей больше, чем на свободе. Это факт.

Я никогда не жалел об утерянной славе. Зачем жалеть о том, чего не случилось. Ведь искусство всегда скрывает от человека истину. И только страдания человека, сходящего с ума, обнажают её во всей полноте. Кажется, я вновь процитировал чьи-то слова. А может и не процитировал. Я именно так и думаю. Может быть это случайная ассоциация, странное сочетание слов, способное родить в душе нечто суверенное, присущее только мне.

Я сижу на диване напротив окна. За окном роза. Она цветет, но я опытным взглядом вижу на ней не зелёные нежные листья, не кровавые бутоны, а темные ветви и шипы. Потому что по сути своей роза – растение коварное. Она – олицетворение скрытой угрозы. Главное предназначение розы – соблазнить и поранить. Уколоть.

Роза чем-то напоминает мне юную женщину. Манит, но ничего кроме ссадин и ран подарить не может. Юная женщина способна подарить только мученья.

Вообще, любая красота обманчива и мучительна. Соблазненные красотой очень редко обретают счастье. Чаще – разочарование. Депрессию. Боль.

Обиженные красотой турки, французы и англичане. Не дарите женщинам роз. Женщины и без шипов способны поранить. Они поранят словами, мимикой, молчанием. Они уколют своим недовольством, своей неудовлетворенностью, способностью обмануть, изменить, унижить.

Я никогда не говорил женщинам гадости. Но, боже мой, сколько этих слов скопилось в моей душе. Залежи. Россыпи. Горы. Но я никогда не скажу об этом ни одной юной женщине. Потому что люблю юных женщин. Я люблю смотреть им в глаза, держать их за руки, слушать, как они говорят. И порой мне даже неважно, о чем идет разговор. Лишь бы её рука была в моей. Потому что руки женщины всегда говорят больше, чем её слова. Голос обманет, тепло руки – нет. Глаза сузятся и солгут, безвольная рука – скажет правду. Руки женщины – как розы без шипов.

Бабушка

Моя бабушка была долгожительница. Она жила так долго, что в последние годы плохо понимала, для чего вообще живут на земле люди. Ночью она крепко спала, днем ела только черный хлеб, запивая его теплым козьим молоком, а после обеда непременно выходила погулять по саду. Во время этих прогулок бабушка полусшепотом читала молитвы, обращаясь то к Богу, то к святым старцам, то к блаженной Матроне Московской. Причем, для прогулок по саду зимой она надевала на себя очень старую норковую шубу, богато поеденную молью и соболью шапку, в некоторых местах напоминающую вытертое хромовое голенище. На ногах у неё в это время были древние валенки огромного размера.

Однажды ко мне заглянул мой старый школьный товарищ, с которым я не виделся много лет. Он прошел по саду мимо бабашки, которая замерла на одной из гряд с посохом в руке. Потом вошел в дом и сказал:

– Зима уже, а вы из огорода пугало не убрали.

Я сразу понял, о чем идет речь. Подозвал его к окну и ответил:

– Спорим, что это пугало сейчас домой пойдет.

Друг с недоумением посмотрел на меня, потом – в окно и удивленно вытянул подбородок. Темное пугало в это время было уже под окном. Причем оно довольно шустро передвигалось.

– Это человек? – удивился мой товарищ.

– Это моя бабушка, – с гордостью ответил я.

– А сколько ей лет? – поинтересовался школьный товарищ, когда пришел в себя и широко улыбнулся.

– Девяносто три.

Моя бабушка дожила до глубокой старости, потому что всегда питалась только свежими продуктами. Следуя этому правилу, летом она часто уходила в лес собирать первую землянику, потом – чернику и малину... Однажды, собирая ягоды в лесу, она встретила медведя. Видимо он тоже привык питаться свежими ягодами, но встрече с бабушкой почему-то не обрадовался. Медведь увидел её и зарычал издали, а так как бабушка слышала плохо, она решила, что кто-то её зовет, и поспешила на крик.

Медведь поднялся на задние лапы, чтобы её напугать. Он не знал, что бабушка только что сняла очки, чтобы глаза отдохнули, а зрение у бабушки было плохое. Бабка увидела перед собой что-то большое и темное, обликом напоминающее человека и решила, что встретила в лесу охотника. А раз встретила человека, то обратилась к нему с вопросом.

– Не подскажите, молодой человек, где тут ягодки покрупнее?

Медведь понял, что его совсем не боятся, опустил на четвереньки и дал деру. Только сухие ветки затрещали у него под лапами.

– Ну вот, никто не хочет со старухой разговаривать, – посетовала бабушка, проводив глазами мутную тень. Вздохнула с сожалением и пошла дальше.

Зимой бабушка жила у нас в районном городке, а летом уезжала отдыхать от городской суеты в далекую, не существующую ныне деревню Медведково, где от всей деревни в то время оставался только один бабушкин дом в шесть окон по фасаду. Там бабушка жила одна всё лето и ничего не боялась.

И вот однажды какой-то смекалистый мужик решил бабушкин дом ограбить. Забрать из него добротную входную дверь вместе с дверными косяками. Он видимо не ожидал, что в доме, который всю зиму пустовал, к лету кто-то может появиться.

Мужик подъехал к дому на грузовой машине, взял топор и стал бесцеремонно выламывать добротные дверные косяки. Бабушка проснулась от страшного шума и скрежета, обнаружила грабителя за дверью, и закричала что есть мочи:

– Колька, Ленька вставайте! Нас грабят!

Мужик за дверью от испугу едва в обморок не упал. Топор из рук выронил, а потом к машине бросился как очумелый. Добежал, запрыгнул в кабину, а завести двигатель не может. Торопится, на бабушкин дом глядит обезумевшими от страха глазами... Кое-как завел машину и укатил восвояси. А бабушка после этого случая быстро успокоилась и благополучно прожила в опустевшей деревне до осени.

Несмотря на плохое зрение, моя бабушка очень любила шить. У неё была очень старая швейная машины фирмы «Зингер». На этой машине она шила жилетки и телогрейки разного цвета и покроя, теплые рукавицы и наволочки для подушек. Я до сих пор помню её маленькую сгорбленную фигурку у окна, как она сидит с огромными колесиками очков на носу и крутит ручку швейной машины. А машина мерно шумит и шелкает.

У бабушки до старости была хорошая фигура. Она, что называется, умела держать форму. Когда она проходила мимо местных мужиков в свои семьдесят пять лет, понимающие мужики делали удивленные физиономии и одобрительно кивали головами, как бы говоря: «Старушка-то ещё хоть куда».

А какие у моей бабушки были волосы! На первый взгляд они казались русыми, но при этом обладали каким-то редкостным золотистым отливом. Как будто Бог хотел сделать бабушкины волосы рыжими, но в последний момент передумал и оставил всё как есть. Когда в солнечный день возле окна бабушка их расчесывала – они так блестели, так отсвечивали на сгибах, что слепили глаза. А ещё я помню, какими эти волосы были послушными. Они, то сплетались в тяжелую косу, то собирались в тугий узел, то покорно лежали на покаптых бабушкиных плечах, то сбегали ниже пояса легким волнистым потоком. В общем, мою бабушку можно было полюбить только за эти волосы, за чистую матовую кожу и зеленоватые глаза.

Бабушка никогда не ела свинины, не любила работать руками и много читала. Она читала Гоголя и Тургенева, Марселя Пруста и Виржинию Вульф, Нэнси Като и Маргарет Митчелл. За этими книгами она ходила в центральную библиотеку на улицу Мориса Тореза, которая располагалась на другом конце города. Придя из библиотеки, она долго пила чай и говорила, что ничего хорошего в этой библиотеке нет. Нет Зинаиды Гиппиус, нет Марины Цветаевой, нет Мандельштама.

Её отец до революции держал в Красноярске два магазина и красильню. У него был огромный кирпичный дом в два этажа, а в нем – хорошая домашняя библиотека. Где-то в Вятке у моей бабушки жили дальние родственники – владельцы сети аптек. Это были обрусевшие евреи из Польши.

О жизни бабушки я знаю ровно столько, сколько успела рассказать о ней моя мама. Сама бабушка никогда ничего о себе не рассказывала. Только иногда в её разговоре вдруг проскакивало упоминание о дяде Никоне и дяде Якове, которые сгинули на Соловках в тридцать восьмом. Да однажды она показала мне небольшую синюю тетрадь со стихами, которые она написала, когда училась в гимназии. Но прочитать свои стихи не дала. Сказала, что это очень личное... А потом эта тетрадь куда-то исчезла, и больше уже никогда не появилась. Только однажды мой старший брат, спустившись с чердака, показал мне какой-то пожелтевший листок из ученической тетради, на котором красивым бабушкиным почерком были написаны следующие строки:

Есть в кружеве лиственной тени

Гармония хитросплетений.

Есть в желтой полоске рассвета

*Восторг долгожданного лета.
Есть в жестах безвыходность чувства,
Есть в чувствах – оттенок искусства,
А в том, что вы долго молчали —
Есть признак душевной печали...*

Это были её стихи, или ею откуда-то переписанные, я не знаю. Я не считаю себя знатоком русской поэзии, но что-то в этих строках меня задело. В молодости бабушка была очень красивой и вполне могла написать что-то подобное. Вероятно, у неё было много поклонников.

Когда к нам приходили соседи поговорить о житейских делах, бабушка не умела долго поддерживать с ними разговор. Она вдруг начинала говорить о литературе или живописи, да ещё таким красивым, таким образным языком, что соседи удивленно умолкали и не знали, что сказать в ответ. А когда бабушка, наконец, понимала, что они не знают, кто такие Марсель Пруст и Уильям Фолкнер – она теряла к ним всякий интерес. Она не понимала, как это можно, прожить всю жизнь и ни разу не взять в руки роман Марселя Пруста «На пути к Сванам». Неужели можно довольствоваться произведениями этого странного старика Толстого или больного на голову Достоевского, который как мог искажил представление о русском человеке, сделав своих героев существами без логики, нравственности и здравого смысла.

Однажды бабушка увидела, как я утром поднимаю для физзарядки пудовую гирю. Мне было тогда лет тринадцать или чуть больше. Бабушка с испуганным лицом подошла ко мне и повелительным голосом потребовала:

- Брось сейчас же эту железяку! Брось, я тебе говорю!
- Почему? – спросил я отдышавшись.
- Ты испортишь себе позвоночник. А он тебе ещё пригодится.
- Но это спорт, бабушка.

– Это не спорт, – строго возразила бабушка. – И вообще, поднятие тяжестей – это не твоё дело. Голову тренируй, а не руки. Пусть другие будут самыми сильными, а ты у меня стань самым умным.

Помню ещё, что бабушка очень любила спать зимой на улице. Она надевала на себя меховую жилетку, потом норковую шубу до пят, богато поеденную молью, лысую соболью шапку, валенки гигантского размера и выходила на веранду, где у неё был лежак, в виде кожаного кресла с очень пологой спинкой. Она устраивалась на нем поудобнее и как-то непривычно быстро засыпала.

А однажды бабушка устроилась отдохнуть прямо на улице, в свежей копне сена, которую наши соседи ещё не перекидали на сарай...

Бабушка видимо забылась и проспала там до утра, хотя на улице был мороз под двадцать градусов.

Мать встала утром с постели, заглянула в бабушкину комнату и не обнаружила её на привычном месте. Вспомнила, что прошлым вечером не дождалась бабушкиного возвращения с улицы. Испугалась, – в чем была – выбежала на улицу. А там снег идет крупными хлопьями. Всё замело так, что бабушку под снегом почти не видно.

Мать добежала до злополучной копны. Испуганно стала разгребать снег руками, боясь, что найдет бабушку уже мертвой...

- Ты чего? – удивилась бабушка, когда мать откопала её.
- Я думала, ты замерзла.

– С какой стати, – ответила бабушка и проворно поднялась на ноги. Снег при этом слетел с неё как белое покрывало.

Потом мать восхищенно рассказывала всем соседям, что после ночи в снегу бабушка даже ни разу не чихнула, и не прекратила спать на улице.

Из бабушкиного дома в наш дом переехал громоздкий, должно быть очень породистый комод с резными дверцами и точеными ножками. Потом – конторка, крытая зелёным сукном и отделанная по краям мореным дубом. Потом – бельевой шкаф с резным барельефом по передней стенке. Потом – целый чемодан серебряных царских рублей, который мы с отцом постоянно перепрятывали, пока не спрятали так надёжно, что не смогли больше найти. После чего отец, отсидевший несколько лет в сталинском Гулаге, сказал:

– Ну и ладно. Меньше переживаний. Всё равно эти деньги никуда не пристроить в наше время.

Мой прадед очень любил свою дочь и хотел выдать её замуж за богатого человека. Но достойного и образованного жениха всё никак не находилось. Сватались какие-то безграмотные прощелыги, казначеи да приказчики. Даже молодой мельник приходил. А прадеду надо было человека серьёзного, образованного. Юриста, инженера или доктора на худой конец.

Так улыбнулась судьба моему деду Степану. Он после демобилизации из царской армии стал настоящим земским доктором. Дополнительно отучился в Казани на провизора, чтобы самому микстуры составлять. Стал лечить зубы, роды принимать, спины править.

Когда мой дед и бабка поженились, прадед сказал:

– Ну вот, теперь мне можно и помирать.

И действительно умер совсем незадолго до революции. То есть как бы вполне своевременно, так как большевики с такими как мой прадед долго не церемонились.

Потом погиб дед в сталинских лагерях, а бабушка дожила до наших дней и была в здравом рассудке до последних дней... Я до сих пор ищу и не могу найти её синю тетрадь со стихами, её чемодан с серебряными монетами. А ещё я ищу её фотографию, где она запечатлена молодой. Мама говорила, что портрет бабушки был спрятан где-то на чердаке вместе с семейным портретом последнего царя. Сейчас мне кажется, что это символично.

Дед Степан

Мой дед по материнской линии был человеком солидным. На старых фотографиях он очень напоминает действительного статского советника. Полноватый, в пенсне, с неизменной цепочкой от карманных часов, изображающей золоченый прогиб. То ли во фраке, то ли в длинном пиджаке какого-то особого мешанского покроя. Исполненный важности, гладко причесанный, он производил впечатление состоявшегося и состоятельного человека. Хотя был родом из обыкновенной крестьянской семьи.

В юности дед Степан очень любил полежать на кровати, а попросту говоря – поспать. И пристрастие это было у него таким могучим, что он порой был не в силах с ним справиться. Он мог уснуть сидя где-нибудь в летнем саду под раскидистой яблоней, мог заснуть стоя и даже научился спать на ходу.

Однажды с ним произошел такой случай. Дед помогал своему отцу на севе яровых. С полным лукошком зерна шагал по мягкому весеннему полю и бросал зерно на вспаханную землю. Его волосы обдувал теплый весенний ветер, над головой пели жаворонки, а где-то сбоку светило оранжевое солнце. У деда было хорошее настроение, он чувствовал себя здоровым и сильным, поэтому не заметил когда уснул. Во сне на какое-то время дед потерял нужную траекторию движения. То есть вместо прямой – пошел по гипотенузе. И где-то на середине пути – шагнул в реку. Хорошо река оказалась неглубокой. Дед даже не расстроился, просто пришел в себя, освежился и стал сеять дальше.

В молодые годы мой дед был очень уравновешенным человеком. Чтобы чем-то его расстроить – нужно было приложить немало усилий. Он быстро рос и поэтому любил вкусно покушать. Бывали случаи, когда он ел и не наедался, и по этой причине ощущал странную внутреннюю неудовлетворенность. Порой он чувствовал некоторое стеснение за свой хороший аппетит. Но это было не всегда.

Однажды на масленицу он отправился в гости в соседнюю деревню, где жила его тетка Пелагея. Тетка встретила Степана радостно, расспросила его обо всем и решила угостить гостя горячими блинчиками. Степан от блинов не отказался. Сел за стол, стал есть, и незаметно вошел во вкус... Войти-то вошел, но обратно не вышел. Даже стеснительность не помогла. Степан ел и ел, благо блины не кончались. Когда теткина поварешка стала «бегать по голу» – по дну ведерной кадушки, где было замешано блинное тесто, а племянник всё ел горячие блины с хорошим аппетитом, – тетка стала поглядывать на него тревожно и задумчиво. Как бы в некотором замешательстве. А когда всё тесто закончилось, – сказала:

– Вот, кажется, и масленице конец.

– Уже? – запальчиво переспросил дед, с таким видом, как будто съел всего один небольшой блинчик.

– Да, – ответила тетка, заглянув в пустую кадушку.

Дед поблагодарил тетку за угощения и вышел на улицу. Там была первая мартовская капель. Дул теплый южный ветер. Настроение у деда было прекрасное, поэтому он домой не пошел, а решил заглянуть к дяде Никифору, который жил в соседней деревне. Масленица все-таки.

У дяди Никифора он отведал супу из баранины, потом – овсяной каши. Выпил чаю с медом, закусил рыбником, и уже совсем было собрался возвращаться домой, когда вспомнил про дядю Абросима, у которого целый год не бывал. Заглянул и к Абросиму. У Абросима похлебал ухи из налимов, отведал гречневой каши, потом – пирогов с грибами, с капустой, с яйцами. Так мой дед бродил целый день до вечера, пока не понял, что, наконец, наелся досыта. После этого к нему вернулось прежнее спокойствие и степенность.

Из-за пристрастия моего деда много спать и много есть, в семье его стали недолюбливать. Прадед решил, что такого человека к тяжелому крестьянскому труду не приучить, и определил его для учебы в Уржумскую гимназию. Пусть лучше набирается ума, изучает точные науки.

Но изучать эти самые науки деду долго не пришлось. В 1911 году Степана забрали в царскую армию. Поставили в строй – и сразу стали чесать затылки. Дед был на две головы выше всех остальных служивых. И подходящую форму ему никак не могли подобрать. Всё деду было не в пору, всё мало да узко. В строю он выглядел, как породистый гусь в стае диких утят. На первом же смотре командиру полка, где начинал службу мой дед, сделали выговор. Один из проверяющих чинов грозно рявкнул, указывая на деда:

– Эта орясина у вас весь строй портит. Определите его куда-нибудь с глаз долой.

Командиры подумали, подумали и решили отправить деда учиться на фельдшера. Пусть в госпитале солдат лечит. Там от него больше проку будет...

А когда дед выучился – началась первая Мировая война. Дед сразу попал на фронт и стал выносить с поля боя раненых солдат. Сначала носил по одному, а потом чтобы много не ползать – двоих сразу. Одного в одну руку, другого – в другую.

Раненых в первые месяцы войны было много. Амуниция на солдатах грязная, так что однажды в суматохе боя дед спутался и притащил в полевой госпиталь контуженого немца. Немец в госпитале опомнился, залепетал что-то испуганно, хотел было из лечебного учреждения сбежать. Но дед быстро пресек это подлое намеренье – контузил вражеского солдата повторно только уже кулаком.

После этого случая моему деду за проявленную доблесть и героизм дали Георгиевский крест...

Потом по какой-то причине наша армия неожиданно оставила позиции. Это произошло ночью, а дед по старой привычке очень крепко спал. Полевой госпиталь по приказу начальства быстро эвакуировали, а про деда в суматохе передислокации почему-то позабыли. Он остался в крестьянской хате, на окраине села, в которой квартировал.

Утром дед встал как обычно, пошел к реке умыться. Глядь, – рядом с ним немец какой-то зубы чистит. Дед решил, что это непорядок. Должна же быть хоть какая-то субординация: линия фронта и прочие атрибуты военного права. Подошел и восстановил справедливость – врезал немцу по загривку, так чтобы неповадно было забегать на чужие позиции.

На обратной дороге в деревню – встретил ещё двух германцев. Они несли воду в какой-то посудине. Это деда окончательно вывело из себя. Он решил, что у неприятеля нет никакого уважения к правилам ведения военной компании. Им бы только наступать. Им бы только лезть на рожон. Не долго думая, дед поставил и этих негодяев на место. Вернее уложил. Одного кулаком другого – жбаном, в котором враги воду несли.

Вернулся дед от реки в деревню, а там вообще творится черт знает что. Кругом германцы хозяйничают, как у себя дома. Да ещё и что-то орут по-своему, мельтешат, мешаются под ногами. Дед рассвирепел – начал дубасить их направо и налево... Немцы долго не могли понять, что это за странный солдат, на котором из одежды одни кальсоны, так развоевался. Машет и машет кулаками без разбору. А когда опомнились, когда скрутили его как следует, – поняли, что поймали вражеского лазутчика – агитатора и большевика... Таким образом, на какое-то время мой дед стал революционером. Он попал в одну камеру к матерым большевикам. Они стали склонять его к противоправной деятельности. Но стезя революционера моего деда не прельстила. В нем подспудно дремал мелкий собственник, тайный ценитель православной Руси, и изжить это беса до конца из деда было невозможно.

Вскоре в Питере произошел Октябрьский переворот. Военная компания 1914 года была объявлена преступной, а рядовые служащие германской армии стали лучшими друзьями российского пролетариата.

После революции дед вернулся в родные места, открыл небольшую лечебницу и стал лечить окрестный народ от разных хворей... Вскоре построил хороший дом в шесть окон по фасаду. Освоился, разбогател и с интересом стал приглядываться к девкам на выданье, подыскивать себе невесту. Узнал, что в соседнем городке у владельца красилена и маслозаводов Бориса Карпинского есть дочь Антонина – красавица девка. Даже то, что она на еврейку похожа его не смутило. «Ну и что, что у девки волосы рыжеватые, нос с горбинкой. Это ещё ни о чем не говорит. Была бы доброй душой», – решил дед. Через какое-то время дед приехал к Карпинским свататься и ему не отказали. Он был высок, красив и всем своим видом внушал уважение. На груди у него красовался Георгиевский крест.

Как практикующий доктор дед неплохо зарабатывал. Если у кого-то не было денег – дед брал плату за лечение зерном и бараньими шкурами, полотном и шерстью, дровами и строевым лесом, маслом и молоком, картофелем и капустой, рыбой и яйцами...

Но, к сожалению, счастливая жизнь у Степана и Антонины продолжалась недолго.

Как-то в окрестностях Красноярска объявился неизвестный продотряд под командованием товарища Груздовского. До зубов вооруженные продотрядовцы, как настоящие разбойники, нападали на местных крестьян и всё у них отбирали. И фураж, и семенное зерно, и солод, и муку. Дед решил, что их руководитель – бандит с большой дороги, и решил для борьбы с ним собрать народное ополчение. На его призыв откликнулись хорошие люди из окрестных сел. Они вооружились охотничьими ружьями, выступили продотряду навстречу и дали генеральное сражение новоявленным грабителям на реке Буй возле деревни Щино. Малочисленный продотряд Груздовского в этом сражении был наголову разбит народным ополчением, а его командир бежал за реку и тайными лесными тропами вынужден был пробираться в революционную Вятку.

Дед решил, что за проявленный героизм он получит ещё один орден, только уже от Советской власти. А получил десять лет лагерей за организацию контрреволюционного мятежа.

Все ждали, что после отсидки он вернётся домой. Такого богатыря никакая тюрьма не ломает.

Но дед почему-то не вернулся. От него осталась пожелтевшая фотография в старом альбоме, на которой он напоминает действительного статского советника, да красивое позолоченное пенсне, которое бабушка, пока была жива, хранила в маленькой серебряной шкапулке.

Дядя Саша, который червяка съел

Так называют моего дядю, который живет в Москве и приезжает к нам каждое лето, чтобы отдохнуть. Дядя Саша худой, маленький, загорелый и жилистый, как все деревенские мужики. Он любит выпить и поговорить. В пьяном виде он пристаёт к одиноким женщинам, легко находит с ними общий язык и часто появляется в нашем доме только под утро.

Порой я гляжу на него и не могу понять, для чего он заводит эти случайные знакомства? Чтобы любить местных вдовушек, одаривать их лаской, или для того чтобы блеснуть перед ними своей эрудицией?

Дядя Саша всегда весел, потому что почти всегда пьян. От него не услышишь жалких сетований на жизнь, грустных воспоминаний и слов покаяния. Дядя Саша доволен жизнью, хотя за душой у него нет ни гроша. После себя он ничего на земле не оставит ни детям, ни внукам. Да они, вероятно, и не ждут от него ничего хорошего.

Зато дядя Саша уверен, что он живет правильно. И никакой другой жизни ему не нужно. Так он устроен...

Как-то я был проездом в Москве, естественно, дядя Саша решил встретиться со мной на вокзале. При мне была бутылка водки, и дядя Саша каким-то таинственным образом это почувствовал. Я уже давно заметил, что если дело касается выпивки – в дяде Саше просыпается экстрасенс. Мне не хотелось пить на улице, но дядя Саша стал настаивать. Тогда я привел ему последний аргумент, сказал, что из горла пить водку не буду – это неприлично.

– А зачем из горла, – тут же нашелся дядя Саша и повел меня какими-то тайными тропами в крохотный сквер, расположенный поблизости от Московского вокзала. В этот сквер проникал зигзаг ржавой водосточной трубы от соседней крыши. Дядя Саша сунул руку в темное горло трубы и вытащил оттуда настоящий граненый стакан.

– Вот видишь. Тут всё приготовлено.

– Что всё? – переспросил я брезгливо.

– А вот, – и дядя Саша снова засунул руку в трубу, потом двинул её чуть дальше и вытянул оттуда целлофановый пакет, в котором оказалась половинка копченой селедки и целая буханка черного хлеба...

Дальнейшее продвижение к дому дяди Саши сопровождалось демонстрацией ещё более виртуозных фокусов и способностей. Дошло до того, что в одном из московских скверов он достал из дупла пожилого дерева полную бутылку «Перцовки». Потом в каком-то мрачном подъезде, в углублении между дверным косяком и стеной, обнаружил записку в тысячу рублей, пакет со сменной обувью и удилище. Я стал подозревать, что в следующем тайнике, чего доброго, может оказаться голая женщина, так как дядя Саша с большим энтузиазмом стал рассказывать о своих любовных похождениях.

Надо признаться честно, Москва в тот вечер произвела на меня гнетущее впечатление. Меня буквально тошнило от Москвы. Она напоминала мне холмистую и пересеченную местность, где все дороги почему-то ведут в гору, и ни одной – с горы. Передвижение по такой непривычной Москве было сопряжено с большими трудностями. Потому что я не замечал уже ни зеленых скверов, ни красивых зданий. Видел только серые фундаменты домов, грязные подъезды да опоры каких-то бетонных столбов, которые, то и дело попадались нам на пути. Присутствие Третьяковской галереи или Кремля в этих каменных джунглях могло показаться кошмарным.

Подходя к двери своей квартиры, дядя Саша на всякий случай предупредил:

– У меня жена хотя и кобра, но не кусается. Только шипит. Так что ты внимания не обращай. Вот такие пироги.

И я не обратил. Просто не смог сосредоточиться, чтобы обрести это самое внимание. Я видел расплывчатый образ его жены, причем временами весьма мутно, как на картинах позднего Клоде Моне. Должно быть так проявила себя «Перцовка», а может быть бутылка «Каберне», которую дядя Саша нашел у себя в кармане в самый последний момент. Каким образом она так долго оставалась там незамеченной, для меня по сей день остается загадкой. А может быть, это был очередной фокус дяди Саши...

В день своего приезда к нам дядя Саша обычно спрашивает у моей жены, нет ли для него какой-нибудь срочной работы? И хотя работа такая у нас всегда имеется, мы великодушно отвечаем, что к нам он приехал не работать, а отдыхать. Что он для нас самый желанный гость. Вот пусть и отдыхает, пусть не думает ни о чем. Потом, как бы вскользь сетуем, что заборы вокруг огорода совсем обветшали, и нижнее бревно в бане надо бы заменить. Дядя Саша слушает нас, с пониманием кивает головой, обещает заняться этой работой завтра же, а сам на следующее утро начинает делать запоры к многочисленным дверям. И так продолжается все две недели, пока не подходит к концу его отпуск. Обычно дядя Саша заменяет старые деревянные вертушки на новые, иногда вместо одного вертушка прибавляет два для прочности, и при этом почему-то уверяет нас, что в Москве полно жуликов. Там дверь без хорошего запора оставить нельзя.

– Везде в России народ жуликоватый пошел, – говорит он. – Совести у людей не стало. Ни в Бога не верят, ни в коммунизм. От этого и вино стало дорогое. Вот такие пироги...

Каждый вечер дядя Саша ходит на рыбалку. Перед рыбалкой он долго копает червей возле полуразрушенной колхозной фермы и весело разговаривает с редкими прохожими. Во время этих разговоров он и получил свое странное прозвище.

Как-то остановил незнакомых парней, чтобы стрельнуть у них сигарету, а потом стал загибать им хитрые московские анекдоты. Парни конечно уши развесили, стоят, слушают, смеются во всё горло, а он между делом достал из земли огромного красного червяка – сунул его в рот, изжевал и проглотил. Ну конечно, на самом деле дядя Саша червяка не ел. Он ловко спрятал его в рукаве просторной куртки, но парни от этой его выходки долго были в шоке. «Во, дает, барыга!» И пошло-поехало: «Дядя Саша, который червяка съел». Сейчас дядю Сашу никто иначе и не называет, а если видят его на улице – то непременно здороваются. Да и как не здороваться, если это тот самый дядя Саша, который червяка съел. Никто толком не знает дядю Сашу и не думает о нем всерьез, зато про червяка, которого он съел, знают все.

После рыбалки и короткого ужина дядя Саша любит порассуждать о судьбе русского народа. Мы всей семьей выходим на веранду, чтобы его послушать. Иногда к нам присоединяются и наши соседи. Приходит Никифор Воскобойников со своей упитанной женой. Вслед за ним появляется Даша Кузиха – пенсионерка из соседнего дома. За Дашей – Антон Дерюгин – мой бывший одноклассник, который в последнее время для чего-то отпустил бороду.

Излагая свои мысли, дядя Саша обычно стоит перед нами в черных вельветовых штанах и серой майке. Его худые руки скрещены на груди. Он слегка пьян, красен и возбужден, а мы слушаем его, сидя на старом диване и отдыхаям душой.

– Русский народ жилистый по своей натуре, – начинает дядя Саша издалека, – сколько на него ни нагрузи – он любую ношу потащит... Русскому человеку ничего не надо, только хлеба кусок, да идею какую-нибудь несбыточную, ради которой надо потерпеть. Вот и всё. Ему ни законов хороших не надо, ни конституции. Лишь бы он знал, что живет по справедливости, что работает не зря... Вот такие пироги.

– Все так живут, – вмешался в разговор Никифор Воскобойников.

– Ха-ха, все! – возразил ему дядя Саша. – Нет, милый мой, не все. Да у нас в Москве умные люди живут совсем другой жизнью. Такой жизнью, которую вы здесь даже представить себе не можете.

– А что там такого особенного? – не понимает Никифор.

– Вы, что думаете, что так умные люди живут, как вы тут живете? В пять часов встают и в десять ложатся, да всё это время в работе, в поту, в заботах о хлебе насущном? Черта с два! На вашей-то шее знаете сколько народу сидит, милые вы мои! Как раньше сидели, так и теперь сидят. Им ваши заботы кажутся дикостью, они бы в вашей шкуре и дня не выдержали. Сбежали бы отсюда к чертовой бабушке.

– Да кто они-то? – с недоумением переспросила пенсионерка Даша.

– Артисты разные, журналисты, писатели, депутаты и прочая шушера. Все московские бездельники. Я ведь вижу, как они работают. Какой от их работы прок. Хотя, они считают себя элитой.

– Эта элита, небось, тоже жарит картошку на постном масле, – вмешался в разговор мой рассудительный сосед и хохотнул хитро.

– Ну, не скажи, – перебил его дядя Саша. – У них к жизни другой подход, мерки другие... Вот у тебя какая цель в жизни? Какая идея?

– Какая ишо идея? – не понял Антон Дерюгин.

– Денег скопить, дом построить, пчел развести. Ведь так? А для них это дело десятое. Пустое. Дом у них каменный, деньги идут соответственно чину. Для них главное – карьеру сделать во время. А этим делом в Москве мафия заправляет. Попал в компанию – они тебя наверх вытащат, не попал – утопят, сколько не гребь.

– Ну, уж это ты перегнул палку, – снова вмешался Никифор, который всегда слушает дядю Сашу с некоторой долей скептицизма. – Мафия – это в Италии, а у нас мафии давно нету. Мы, брат ты мой, это понимаем не хуже тебя. Мы не безграмотные. Это ишо доказать надо, кто из нас глупее.

– Мафии нет? – удивился дядя Саша. – Ну, вы даете! Да она у нас всюду. У нас же всё сейчас держится на взятках, всё на тайной договоренности. Да у нас можно всю жизнь чего-то добиваться, нервы портить, работать как вол, а можно договориться с умным дядей, который всё быстро устроит. И всё будет чики-брики... Вот такие пироги...

После этих слов Никифор Воскобойников делает голову набок и чешет затылок. Видимо чувствует, что дядя Саша в чем-то прав, но признавать его правоту Никифор не хочет. Его большое коричневатое от загара лицо приобретает суровое выражение, а маленькие тёмные глазки начинают быстро бегать.

– Ну, может ты и прав, в чем-то, – лениво произносит он и для чего-то расстегивает на животе свой старый серый пиджак в полоску. – Только, всё равно социализм капитализма лучше...

Я слушаю дядю Сашу и думаю о том, что у каждого человека на земле свое счастье и своя жизненная трагедия. У каждого свой только ему понятный путь.

– Не умеем мы жить, – продолжил между тем дядя Саша, – не умеем. Если у нас одно дело в гору идет – то другое непременно валится. Разве вы не замечали?

– Замечали, не замечали. Какое твое дело, – огрызается Никифор. – Будем мы всё замечать. Делать нам нечего. Мать твою!

– Не ругайся, – останавливает Никифора жена. – Человек из Москвы приехал. Может, он дело говорит.

– Знаю я его дело. По бабам шастать...

– Да какие там бабы. Вон у него – кожа да кости.

– Кожа да кости, а сучек-то, небось, идет взадир. Я таких ту знаю. Они работать не могут, а с бабами изгиляться – мастера. Лавеласты!

– Эх, и дурной же ты Никифор! Человек из Москвы приехал. Нас уму разуму учит... Вы не обращайтесь на него внимания. Говорите. Он у меня в лесу работает. Одичал совсем.

Я смотрю за окно. Там колышется под легким южным ветром густой малинник. Когда ветер усиливается, он слегка нагибает тонкие побеги, и серебряная изнанка узорча-

тых листьев начинает неистово блестеть. Как будто чья-то невидимая рука нежно поглаживает их.

Красноватый вечерний свет уже струится по кронам яблонь. Темно-зеленая смородина осыпана черными бусинами ягод. А мне почему-то делается тоскливо. Я слышу, как где-то в конце нашей улицы воет собака местного ветеринара, и не понимаю толком, отчего мне стало так грустно. От слов дяди Саши, или от воя этой собаки? Мне хочется встать и уйти с веранды в сад. Пройти вдоль кустов смородины к реке и забыться там над вечным простором...

На следующий день дядя Саша вернулся с рыбалки с прекрасным уловом. В то утро ему явно сопутствовала удача. Он принес сома на восемь килограммов и двух широких как лопаты лещей. Не без гордости кинул всё это на кухонный стол и стал ждать комплиментов. От моей жены они последовали незамедлительно, меня же немного смутило то обстоятельство, что дядя Саша не стал рассказывать, как и где он всё это поймал. Зато жена уловом дяди Саши была очень довольна. Она сварила из пойманной рыбы уху, нажарила целую сковороду лещей и уже собралась позвать к столу соседей, когда дядя Саша пространно намекнул, что этого делать не нужно.

– Почему? – удивилась моя жена.

– Это... желание рыбака. Я вас хочу угостить, а не соседей.

Уху мы ели на веранде. Запах от ухи был божественный. Сомятина оказалась на удивление жирной и вкусной.

И всё было бы хорошо, если бы в конце вечера к нам на веранду с грозным видом не ворвался Коля Волгарь, потомственный рыбак, и с порога не закричал:

– Откуда рыба?

– А что случилось? – испуганно переспросила жена.

– У меня садок срезали. Поймаю – убью! – пояснил Коля Волгарь.

– Это... дядя Саша наловил, – неуверенно пролепетал я.

– Я нарыбачил сегодня утром, – подтвердил мои слова невозмутимый дядя Саша.

– Сомятина есть? – громко спросил Коля Волгарь.

– Нет, – нашелся дядя Саша, – только налимы. Но крупные.

– А-а-а. Да налимы крупные... только, – бледнея, пролепетала моя жена.

– Всё равно, поймаю – убью! – пообещал Коля Волгарь, уходя. И по тому, как он хлопнул дверью, мы поняли, что он обо всем догадался.

УРОКИ ЖИЗНИ (Сага о сельском учителе)

Уж чего-чего, а поросят держать они не собирались. Хотели выглядеть интеллигентными и свободными, как птицы. Ели вареную картошку с рыбными консервами, макароны, жареные на подсолнечном масле, овсяную кашу с изюмом. Анастасия Павловна научилась готовить пирожки с грибами, какие-то сдобные пышки и кренделя. Подозрительно скоро пополнила в талии, стала много спать и так же много есть сладкого. А Николай Алексеевич, её молодой муж, всё чаще и все увереннее стал говорить о пользе капустных салатов, о свежих фруктах и овощах. Он уверял, что обожает постную пищу, но в его представлении она почему-то ассоциировалась с наличием разных экзотических продуктов, что было не совсем уместно в вятской глуши.

Потом он как бы очень кстати вспомнил о «хренотере» с томатами, о печёных яблоках и пареной репе. Анастасия Павловна слушала его и молчала. Ему показалось, что она не до конца понимает то, о чем идет речь, поэтому он повторил:

– В наших условиях, Настя, «хренотер» может заменить всё. Потому что полезнее его ничего на свете нет. А, самое главное, есть его можно с чем угодно. С хлебом, с картошкой, с макаронами. Он возбуждает аппетит, и вообще...

– Я понимаю, – нехотя соглашалась молодая жена.

– Вполне возможно, у нас будет много гостей. Я...я натру бог знает сколько «хренотера», ты же знаешь, какой я усердный, если нужно... и буду угощать им наших новых знакомых. У нас будет много друзей. Я познакомлюсь со всеми интеллигентными людьми в округе и постараюсь стать для них душой общества. Ведь есть же здесь какое-нибудь культурное общество. Как ты полагаешь? Прозывать без дела я не собираюсь. Культурные люди начнут бывать у нас, мы – у них. Мы будем беседовать о музыке и литературе, о живописи и философии... Только надо запасти побольше «хренотера». «Хренотер»...

– Ну, о чем ты говоришь, Коля! – вдруг остановила его Анастасия Павловна.

– А что?

– Неужели ты собираешься принимать гостей без мясных блюд? Это же неприлично. И вообще: ананасы, «хренотер», интеллигентные друзья. Вздор всё это. Фантазии... А для того чтобы иметь много мяса, надо просто держать поросенка, как мои родители. Вот и всё.

– Может быть. Может быть, в чём-то ты и права, но я больше не собираюсь отмечать все праздники только с твоими весьма невоспитанными братьями.

– А чем они плохи? – удивилась Настя.

– Ты знаешь сама...

– Чем же?

– Когда они приходят к нам в гости, я перестаю чувствовать себя хозяином этого дома... Я тебе не говорил, но буквально вчера твой старший брат Федор бесцеремонно подошел ко мне в магазине, дернул за рукав и попросил добавить тридцать рублей на пиво. Там была огромная очередь, и все люди это видели. Я, конечно, дал ему тридцать рублей, но что после этого обо мне подумали люди. Они могли подумать, что я и этот лохматый, грязный человек чем-то связаны. Что мы с ним друзья... Он сильнее меня и этим пользуется. Но в таких вещах со мной шутки плохи. Я боксом когда-то занимался. Да! И если я рассержусь. Если я рассержусь! Почему ты улыбаешься? Это вовсе не смешно. Помнишь, я показывал тебе синяк на правой руке. Это я, шутя, ломал кирпичи ребром ладони... И вообще, если мне надеть фуфайку на два размера больше – у меня тоже будут широкие плечи. Но это ещё

не дает мне права быть грубым. Грубым и бесцеремонным... Я тоже могу много выпить, однако же не пью лишнего.

– А причем здесь фуфайка, Коля?

– Я говорю не о фуфайке. Я говорю о человеческом достоинстве. Как ты не понимаешь! Я говорю о высоком чувстве долга, о нравственности. Даже живя в этой глуши, мы не должны терять лицо и стараться, по возможности, ставить перед собой высокие цели...

Анастасия Павловна с грустью смотрела на мужа и думала, что, должно быть, уже в первом классе он был очень занудным...

Закончив говорить, он начинал готовиться к урокам, что-то сосредоточенно писал в толстой тетради, а ей от тоскливого безделья хотелось поскорее одеться, выскочить на улицу и бежать-бежать куда-нибудь вдоль высокого забора. Потом остановиться на берегу ночной реки, в прошлогоднем репейнике, и выплакаться навзрыд обо всем на свете. После пролитых слез у неё светлее становится на душе. В детстве ранней весной у Насти уже случались приступы меланхолии, но тогда они быстро заканчивались, а сейчас иногда продолжались подолгу и казались совершенно беспричинными.

Плохое настроение покидало Анастасию Павловну, когда они с мужем отправлялись в кино или просто гуляли под луной, взявшись за руки. Он рассказывал ей о школе, похожей на курятник, о том, что у них сейчас новый завхоз, с которым очень трудно найти общий язык. А впрочем, это сейчас не так важно, потому что дрова на будущий год они уже привезли, осталось только расколоть их и сложить в клетки. Анастасия Павловна говорила о том, что в бухгалтерии сейчас тоже стало трудно работать. В детском доме на кухне не хватает посудомоек и разнорабочих, их заменяют медсестры и бухгалтера. Из её речи выходило так, будто всё в детдоме скоро будут делать медики и экономисты: колоть дрова и ездить на лошади за хлебом, и кормить свиней, и чистить за ними навоз.

В местном клубе почти всегда было холодно и сильно накурено. Над сценой, под самым потолком, висел неширокий, но очень длинный плакат, изображающий крупнолицего землелепашца, трактор и волнистое желтое поле, уходящее за горизонт. В ожидании кинофильма немногочисленные зрители лугали семечки и плевали на пол. Из тёмного угла за портьерой пахло мочой. А под ногами даже во время сеанса бродило какое-то мохнатое животное и угрожающе рычало.

В общем, к концу кинофильма молодые супруги так застывали, что до самого дома неслись вприпрыжку и радостно повизгивали от предвкушения ожидающего их домашнего тепла.

Отогревались на кухне за чаем. От холодного осеннего ветра у них горели щеки и неподдельным весельем светились глаза. Хотелось подольше удержать эти счастливые минуты. Николай Алексеевич обнимал жену, наклонялся к её уху и начинал говорить ей красивые слова, примерно такие же, какими выражаются главные герои в фильмах о любви. Она слушала его и улыбалась. Он дотрагивался рукой до её щеки и почему-то сразу вспоминал новогодний праздник из далекого детства. Детство сейчас представлялось розовым и румяным, как спелая антоновка. И чем дальше оно уходило, тем всё отчетливее была по нему ностальгия.

– Анастасия, как ты думаешь, в жизни есть какой-нибудь смысл? – вдруг спрашивал он.

– Никакого, – с улыбкой отвечала она.

– А, по-моему, это слишком категоричное заявление.

– Нет. Иначе писатель Чехов ничего бы не написал. Ну, сам посуди, какой смысл в его «Чайке», в «Трех сестрах?» Если в чем-то есть настоящий смысл, то его можно выразить тремя словами. А из пустого в порожнее можно переливать без конца..

– Надеюсь, ты этим ни на что не намекаешь?

– Нет.

Но весной молодым супругам всё же пришлось купить поросенка. Тесть настоял. Стал доказывать, что от этого всё равно никуда не уйти, так принято в селе, так испокон веку заведено. Благо, хоть поросёнок попался хороший. Гладкий такой, розоватый, ушастый, чем-то похожий на игрушечного слона. Он бегал из комнаты в комнату, мило хрюкал и шумно перескакивал через порог.

– Вот ты какой, хрюндя! – приговаривала иногда Анастасия Павловна, поглаживая его по белой спинке. Поросенок при этом недоверчиво мотал головой и убегал из-под ласк за печку. Анастасия Павловна умиленно провожала его взглядом и спрашивала у Николая Алексеевича, нето шутя, нето серьёзно:

– Коленька, неужели мы его зарежем когда-нибудь? Он такой милый.

Николай Алексеевич делал удивленное лицо и отвечал:

– Нет, конечно. Мы будем кормить его до старости, пока сам не умрет.

– Ну, Коленька!

– И можешь передать своему папочке большое спасибо за подарок. Я не знаю, какова судьба этого зверя в дальнейшем, но в настоящее время мы вынуждены покупать для него молоко... А потом, вероятно, надо будет таскать откуда-то помои и собирать в лесу желуди... Не представляю, как мы докормим его до зрелого возраста... Да ещё, в добавок ко всему, надо будет набраться смелости, чтобы лишить его жизни.

– Для него нужно срубить хлев.

– Для одного поросенка целый хлев? – удивился Николай.

– Но не держать же его на улице.

– Настя, я не плотник, но с завхозом я поговорю... Если, конечно, мы не найдём иных решений.

– А какие ещё могут быть решения?

– Ну, может, отгородить ему небольшую вольеру в лесу. Лес у нас рядом. И пусть живет себе в родной стихии.

– Но поросенок – это не кабан. Он вовсе не настоящий зверь... И вообще, папа говорил, что на первое время ему надо купить какой-нибудь крупы.

– Ну, что ты говоришь, Настенька!

– Что?

– Ну, разве ты не понимаешь, как всё это мелко и... глупо. Что это настоящая трясина. Сначала поросенок, потом – курицы, а потом и корова... Мы даже опомниться не успеем, как нас затянет в натуральное хозяйство. И потом, это же настоящая кабала...

– А мне надоела капуста!

– Ну, это ещё не самое скверное... и...

– И разговоры об ананасах.

Потом всё лето только и было забот, что о хлебе да молоке для подрастающего поросенка. Поросенок быстро рос, с неизменным аппетитом ел всё, что ему приносили, в том числе и квашеную капусту, и картошку, и «хренотер». Он съел мешок овсяной крупы, съел всю морковь, которую великодушный тесть привез из своего огорода. Съел всю траву вокруг дома и вырыл в огороде огромную яму, куда в ненастные дни стекала дождевая вода, и где не в меру растолстевший поросенок стал принимать целебные ванны.

Для него два местных прощелыги, почему-то пользующиеся репутацией хороших плотников, срубили маленький хлев, в котором поросенок размещался на ночлег и откуда «рёхал» на случайных прохожих так громко и сердито, что они испуганно вздрагивали и старались поскорее миновать дом учителя... В общем, Николаю Алексеевичу порой казалось, что они с Анастасией Павловной живут сейчас только для того, чтобы досыта кормить этого проклятого поросенка, который ничем не собирается рассчитываться с ними за труды.



Да тут ещё тесть подлил масла в огонь. Николай Алексеевич, как обычно при встречах, завел разговор о низких нравах провинции, о бездуховности и традиционном российском пьянстве. Зашел весьма далеко, стал цитировать Достоевского и Салтыкова – Щедрина, потом перешел на Чаадаева. Только тесть на этот раз долго слушать зятя не стал, сказал, что они с Настей сами ничуть не лучше. Без коровы в деревне живут, можно сказать, никакого хозяйства не имеют. В кои-то веки одного поросенка завели, зато рассусоливать мастера.

После этого разговора Николай Алексеевич дня два расстроенный ходил, тяжело вздыхал и досадливо морщился. А при случае пасмурно жаловался коллегам, что жизнь в селе устроена ужасно, даже можно сказать, отвратительно.

– Ну, посудите сами, – запальчиво объяснял он, – ведь это каннибализм какой-то. В селе, чтобы хорошо питаться, надо кого-нибудь выкормить, потом зарезать его обыкновенным ножом и съесть... И никто, никто не задает себе вопрос: а имею ли я на это право? Ведь кому-то приходится расплачиваться за подобные убеждения своей жизнью. А вы представляете себе, что будет, если все захотят питаться исключительно мясом, как настоящие хищники. По земле потекут реки крови. Каждый будет ходить с ножом или саблей за поясом. И это будет в порядке вещей... Нет, я этого не понимаю... И вообще, чем свиньи перед нами провинились? Почему мы решили, что этих милых животных лучше всего употреблять в пищу? Вот мне, например, они нравятся, но вовсе не как мясо, а как живые существа. Они удивительно сообразительные, умные и непосредственные животные. Да вы посмотрите им в глаза. У них и глаза синие, как у людей. Единственное, чего им не хватает – так это воспитания.

Коллеги одобрительно кивали головами, снисходительно улыбались, переглядывались, но уверяли, что рассуждения Николая Алексеевича в чём-то нелепы и нет в них, к сожалению, никакой тонкой материи. Действительно, все хотят жить и дышать, но по каким-то неписанным правилам сильный всегда съедает слабого. Так заведено.

– Нет, это не закон жизни, – запальчиво возражал Николай Алексеевич, – это ничем не ограниченный эгоизм, потому что человек вполне способен обходиться постной пищей. Капустой и «хренотером». Жирная пища – это всего лишь дань традиции. Своего рода убежденность и больше ничего. Толстой же, к примеру, мясного не ел, и этот ещё..., как его... – И не мог больше вспомнить никого, кто ещё не ел.

Закончилось лето, приблизились первые холода. Потом дождливые дни ветреной осени сменились стойкими морозами и местные жители приступили к нещадной резке свиней. По выходным дням то там, то сям над тихими улочками Пентюхино вдруг раздавался жуткий

предсмертный визг бедного животного, который тут же подхватывался жалостливым воем многочисленных местных собак. Потом крики стихали, и слышен был только гул паяльных ламп, да наплывал откуда-то резкий запах паленой щетины.

Только хрячок Николая Алексеевича жил как прежде. Он всё так же много ел, смачно чавкая над деревянным корытом, так же крепко спал в хлеве, а днем разгуливал по пустынному огороду.

Но однажды в субботу, как бы ни с того ни с сего, во двор учительского дома зашли два человека. Трифон Силантьевич Бздюлев и Андрей Кузьмич Голеницин. У одного в руке была паяльная лампа, у другого из голенища сапога торчал огромный нож из самокала. Они пояснили, что Павел Семенович, отец Анастасии, с ними уже договорился, так что сейчас от хозяев почти ничего не требуется, только небольшая бутылочка за работу. Всё остальное они сами сделают. Тут им помощники не нужны.

Николай Алексеевич со страху как-то не понял сразу, кто такой Павел Семенович. Потом сообразил, что это его тесть и побежал на кухню к жене. Взволнованным голосом сказал ей, чтобы всем остальным она сама руководила. Он не может. Он в этом беспределе не участвует. Это выше его сил.

Анастасия Павловна, по правде сказать, тоже немного испугалась, но бутылку всё-таки нашла и с мужиками о чем-то договорилась...

В это время Николай Алексеевич заперся у себя в спальней комнате, лег на кровать и закрыл голову подушками. Всё ждал, что ужасный предсмертный крик бедного поросенка прорвется сквозь все преграды. Но, к счастью, ничего не услышал. И от этого немного успокоился. Пересел на кресло возле окна выходящего в сад и просидел так часа полтора.

После резки, мужики на кухне поджарили свежую свиную печень, выпили бутылку водки, о чем-то живо побеседовали с Анастасией Павловной и ушли, наследив на свежем снегу кровавыми подошвами кирзовых сапог.

Несколько дней после этого злополучного события Николай Алексеевич был сам не свой. Расстраивался и переживал, изводил себя жалостью. Анастасия Павловна заметила, как несколько раз он громко охнул, глядя на алый снег во дворе. Потом Николай Алексеевич из принципа не ел свиное мясо три недели. Но к новому году всё же не выдержал – расслабился, помог жене накрутить через мясорубку мяса и настряпать пельменей.

Когда пельмени уже были готовы, он, глядя куда-то в сторону, несмело осведомился, не мучился ли перед смертью бедный поросенок? Что об этом говорили мужики? И Анастасия Павловна, стараясь быть серьёзной, ответила, что Трифон Силантьевич, вообще-то, большой мастер забойных дел, у него рука легкая. От такой руки скотина разом погибает...

А пельмени из свежего мяса получились очень даже вкусные, и когда Николай Алексеевич их ел, он никак не мог решить для себя, что для него сейчас важнее – сытость или нравственность? Когда же хорошенько наелся, то понял, что с полным желудком о нравственности рассуждать как-то заметно легче.

Новогод

Так в Пентюхино сокращенно называют новогодний праздник, не потому, конечно, что есть еще Первомай и прочие праздники с названием в одно слово, а просто так, ни с того ни с сего.

Новогод Николай Алексеевич всегда ожидает с радостным нетерпением. А как же иначе, ведь это праздник из детства, из той далекой поры, когда заветный кулек конфет представлялся вершиной счастья, когда само ожидание манящего кулька наполняло душу так же, как сейчас может наполнить её лишь поцелуй любимой женщины, подаренный случайно между слов в общей праздничной суматохе. И любимая женщина у Николая Алексеевича тоже есть, это Татьяна Стерлядкина. Эта женщина празднично красива, восхитительно свободна и удручающе равнодушна.

Когда Татьяна танцует, Николай Алексеевич любит пленительным полетом её ног, парящими складками её платья, загадочным профилем и глазами, отражающими разноцветные огни елки. Его манит к ней, но так танцевать он не умеет. Он вместе со всеми топчется на одном месте под музыку Давида Тухманова и видит перед собой внушительную фигуру Анастасии Павловны, от которой пахнет духами примерно так же, как из платяного шкафа – нафталином. Анастасия Павловна улыбается ему, и ее щеки от частых морщинок становятся похожими на гармошку. Он тоже силится улыбнуться ей, но не может и с виноватым лицом понимает, что до веселья ему не хватает пары рюмочек водки. Вот выпил бы эти сто граммов водки, съел три-четыре скользких парящихся пельменя, потом поддел на вилку ядреный тверденький огурчик – вот тогда все было бы в порядке.

Когда очередная песня закончилась, Николай Алексеевич оставил жену и вышел в фойе отдышаться. Там было холодно, как в погребе, накурено до ощущения тумана, и в этом тумане стояли полукругом мужики. Один из них что-то рассказывал, а остальные громко смеялись. Николай хотел подойти к мужикам, немного послушать, о чем они говорят, но передумал и прошел мимо, на улицу. В дверях кто-то обогнал его и, проскрипев по снегу подошвами сапог, заскочил за бревенчатый угол клуба. Николай Алексеевич немного потоптался на крыльце и, сжавшись от холода, проследовал туда же. За углом Дома культуры скопилось уже человек пять мужчин, и все они аккуратно писали в широкую трещину на фундаменте очага культуры. Николаю Алексеевичу сделалось неловко, он стал искать глазами туалет, но не нашел его и решил пройти дальше. Каково же было его изумление, когда, свернув налево, за массивный забор он неожиданно спугнул стайку женщин, которые с дружным щебетом тут же упорхнули в новогоднюю ночь, оставив на снегу желтоватые разводы. «Черт знает что!» – решил Николай Алексеевич и направился на поиски туалета.

Туалет он нашел на краю соседнего оврага. Это был маленький покосившийся сарайчик, дверь в который невозможно было открыть, потому что она до половины была засыпана снегом.

На обратном пути в холодном фойе его остановил Евгений Иванович – школьный физрук. Евгений Иванович был красен как рак, излишне весел и просил поддержать компанию.

– Тут всего два шага шагнуть до моего дома. Чего раздумывать-то? Пошли.

– Перед женой как-то неудобно, – попробовал оправдаться Николай Алексеевич.

– Берем ее с собой. Какой разговор. Настя у тебя баба классная – веселая. Берем с собой. Ты давай одевайся пока, а я за ней сгоняю.

После небольшой отлучки в бодрый школьный коллектив, где по необъяснимой праздничной логике было все-все и даже чуточку больше того, что требовалось в данный момент Николаю Алексеевичу, он по возвращении в клуб почувствовал себя наравне с Татьяной

Стерлядкиной. А что вообще должно быть такого исключительного в солидном мужчине? На нем прекрасный новый костюм серого цвета, белая рубашка и галстук в полоску, модные итальянские туфли. И вовсе не беда, что он немного лысоват. В хорошем обществе с его задатками грех было не показать себя. Вот возьмет сейчас и пригласит на танец Татьяну. Закружит ее, кружит, а потом как бы ненароком покажет ей свое лучшее па. Когда-то он занимался в кружке бального танца и делал успехи. Только бы зазвучала музыка Мендельсона.



И он действительно пригласил Татьяну одним кивком лысой головы, так как язык у него отнялся сразу же, как только он приблизился к ней. Она поднялась ему навстречу и затопила его своим восторженным видом. У нее блестели волосы и глаза, платье тоже блестело. Под своими нелепыми потными руками он почувствовал ее упругую талию и с ужасом понял, что не поспевает за Татьяной. На бесконечных поворотах его заносит, отчего он вынужден смотреть вниз, чтобы случайно не отдавить ей ногу или, чего доброго, не упасть, потому что все это мельтешит, кружится и перескакивает с места на место. Вероятно, он бы плохо кончил, если бы вовремя не оборвалась музыка. От танца у него так закружилась голова, что в первые мгновения тишины он ничего вокруг себя не видел.

Наконец, перед ним возникло улыбающееся лицо Татьяны. Она о чем-то спрашивала его.

– Да? – протянул он в форме вопроса и наклонил к ней голову.

– Я говорю, как вы себя чувствуете? У вас было такое лицо, как будто вы вот-вот упадете.

– Неужели?! Я прекрасно себя чувствую. Правда, слегка кружится голова. Давно не танцевал, знаете ли. Хотя я бы с удовольствием пригласил вас еще, если позволите.

Она удивленно посмотрела на него и ничего не ответила. Он виновато заморгал, потом холодно поблагодарил ее за танец и отошел в сторону. Нашел глазами Анастасию и стал пробираться к ней, проклиная себя за ненужную навязчивость. Магнитофон на столе взревел вновь, наполнив зал дребезжанием струн и громом барабанов.

– Что же ты говорил, что танцевать не умеешь? – спросила Николая Алексеевича жена, как только он приблизился к ней.

– Это было мое лучшее па.

– Какое еще па? – не поняла Анастасия.

– Да это я так, про себя.

– Ясно, что не про меня... Под сорок лет тебе, Коленька, а ты все в жмурки играешь. Нехорошо!

Николай Алексеевич сел рядом с женой на холодный диван и понял, что так уже было в его жизни. Правда, очень давно. Да-да, он прекрасно это запомнил. Как привезли к ним в Краснояцк какой-то известный иностранный фильм, как показывали его два дня в переполненном Доме культуры. Как жили на экране красивые и свободные люди нездешней возвышенной жизнью, и он мечтал когда-нибудь пожить так же. Как звучала с экрана чудесная музыка, от которой почему-то хотелось плакать. И как потом вдруг совсем неожиданно и некстати фильм закончился, со скрипом открывались деревянные двери Дома культуры, и потная толпа вываливала на темную осеннюю улицу, где холод, грязь, высокие покосившиеся заборы да лай собак.

Николай Алексеевич поднялся с дивана и снова вышел в фойе. В середине этого холодного помещения все так же стояли три тощих выпивших мужичка и курили, обмениваясь между собой празднично вздорными фразами. «Убого, до чего же убого все!» – решил в сердцах Николай Алексеевич и зашел обратно, потому что там в просторном зале хотя бы тепло и есть музыка.

Потом он весь вечер танцевал только с Анастасией Павловной, и ему показалось, что однажды Татьяна поглядела на него очень внимательно, можно сказать обольстительно, но с укором. А он постарался не обратить на это внимания. Сейчас он был благодарен только жене за все. За то, что недурна, неглупа, как некоторые, и живет с ним, с дураком таким, даже ревнует его. А ведь, в сущности-то, если разобраться, как следует, он своей Анастасии не стоит. Она ведь всю свою жизнь под него подложила, и говорить умеет так, как будто накидывает пуховый платок ему на плечи. Чего еще-то ему нужно?

Обратно из Дома культуры домой молодые супруги шли сонные. В ночи медленно падал снег, еле заметное утро проступало белым на востоке. Николай Алексеевич остановился, задрал голову и посмотрел в небо. Там, клубясь и пересыпаясь, летели к земле мелкие снежинки, чтобы упасть под ноги людям и стать обыкновенным сугробом. А в тяжелой массе сугроба нет уже ни кружения, ни полета – только холод.

На крыльце дома Анастасия Павловна долго искала ключ, под её ногами скрипели половицы, потные пальцы прилипали к холодному замку, и Николай Алексеевич успел удивиться тому, как тяжело она дышит. Должно быть, они оба уже непоправимо постарели. Другие люди со стороны видят это, а они не замечают. Ведь душа у человека и впрямь не старится, она с каждым утром начинает новую жизнь.

Он включил в доме свет. Огромный серый кот спрыгнул с печи, подбежал к холодным ногам хозяина и стал тереться пушистой щекой о щиколотку, преданно выгибая спину. Николай Алексеевич нагнулся и погладил кота по теплой голове. Какой все-таки добрый кот, ласковый, шерстяной и живет с ними в одном доме, как родственник.

Потом на кухне пили чай, сонно переговаривались, вздыхали, настраивая себя на обычный жизненный лад наступившего нового года.

Признание

Николай Алексеевич был женат. Его жена была высока, румяна и привлекала той сельской непорочной красотой, которую отличают высокая грудь, широкий таз и те пропорции тела, которыми примечательны статуи в тенистых скверах провинциальных городов, где тихое течение жизни издревле предрасполагает к излишней полновесности каждой детали. Большими талантами Анастасия Павловна не обладала, зато она умела прекрасно готовить салаты и печь блины.

Работала она счетоводом в колхозной конторе, получала за свой труд немного, но умела так одеваться, что всегда производила впечатление милой, привлекательной женщины. Вскоре после замужества она родила Николаю Алексеевичу двух курносых девочек. Девочки скоро подросли и Николай Алексеевич иногда стал видеть в них прежнего себя. От этого взгляда в прошлое, порой, ему становилось чуточку грустно.

В доме у Николая Алексеевича все было на своих местах, как положено. Прекрасный сервант с хрусталем, два ковра (один из них с традиционными оленями), люстра с лепным отражателем и бутафорский камин с нарисованными языками пламени, покрытый всегда тонким слоем пыли. В общем, дом тоже должен был производить приятное впечатление изнутри и снаружи. И самого Николая Алексеевича все в Пентюхино считали человеком очень положительным. Во всяком случае, такое он производил впечатление. Никто даже не подозревал, что Николаю Алексеевичу давно нравится другая женщина.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.